



Письмо I

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕНИ

Во всем отдавай себе отчет, о Луцилий, и старательно сберегай время, которое до сих пор или само ускользало от тебя, или отнималось другими, или, наконец, тобою самим тратилось попусту. Поверь мне: часть времени у нас отнимают другие, часть его тратится даром, часть уходит незаметно для нас самих. И самая постыдная потеря времени та, которая происходит от нашей собственной небрежности. Вникая в дело, ты легко заметишь, что *большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо*. А между тем много ли людей придают времени какую-либо цену, уважают и ценят свои дни, понимают, что с каждым днем они умирают? Ведь в том-то и есть наша ошибка, что мы смотрим на смерть только как на будущее событие. Большая часть смерти уже наступила: то время, что за нами, — в ее владении. Итак, о мой Луцилий, продолжай, как ты пишешь, употреблять с пользою каждый час. Если сегодняшний день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы откладываем жизнь, она проходит.

Все, о Луцилий, не наше, а чужое; только время — наша собственность. Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто только этого захочет. Люди настолько глупы, что считают себя в долгу, если получают какой-либо подарок, как бы мал и ничтожен он ни был, хотя притом они всегда имеют еще возможность отдарить за него, и решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которой нельзя возратить обратно при всем на то желании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя на этот счет? Сознаюсь откровенно: я поступаю как люди расточительные, но аккуратные: веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, каким образом и почему. Я могу объяснить причины моей бедности. И ко мне относятся как к людям, впавшим в нищету не по своей вине: все жалеют, но никто не помогает. Впрочем, я не могу еще считать нищим человека, которому хватает того, что у него осталось. Поэтому береги то, что у тебя есть, и примись за это заблаговременно. Недаром говорили наши предки: поздно беречь вино, когда уже видно дно. Ведь на дне его остается не только мало, но и самый остаток — плохого качества.

Письмо II

О ЧТЕНИИ КНИГ

На основании того, что ты мне пишешь, и того, что я о тебе слышу, я возлагаю на тебя большие надежды. Ты не разбрасываешься и не мечешься, не находя себе места.

Такое разбрасывание — признак больного духа. Лучшим признаком уравновешенного ума я считаю умение сосредоточиваться и терпеливо ожидать.

Смотри, однако, как бы чтение многих авторов и книг всякого рода не сделало тебя слишком поверхностным и неустойчивым. Если ты хочешь извлечь из чтения какую-либо прочную пользу, то останавливайся подолгу только на несомненных авторитетах и «питайся» исключительно ими. Тот, кто всюду, тот нигде. У людей, много странствующих, бывает обыкновенно много знакомых, но совсем нет друзей. То же непременно случается и с тем, кто не изучает внимательно никакого одного писателя, но прочитывает всех мельком и спеша. Нет пользы от пищи, которую желудок, едва восприняв, извергает; ничто не вредит так выздоровлению, как частая перемена лекарств; никогда не затянется рана, если на ней пробовать разные средства; не поправляется растение, если его часто пересаживают; ничто вообще не приносит пользы, если влияет мимоходом, налету, — такие книги в большом количестве только обременительны, раз ты не можешь прочесть столько книг, сколько их есть у тебя, то довольствуйся столькими, сколько ты можешь прочесть. «Но, — возразишь ты, — если я хочу читать то одну книгу, то другую?» Признак расстроенного желудка — пробовать много кушаний, которые, несмотря на свое обилие и разнообразие, не питают его, а засоряют. **Итак, читай всегда лучшие, признанные сочинения, а если и случится когда-нибудь просматривать другие, то все-таки вернись потом к первым.** Старайся приобретать ежедневно хоть что-нибудь, чтобы обеспечить себя ввиду бедности, смерти и других бедствий. И если прочтешь что-либо, то из прочитанного усвой себе главную мысль. Так поступаю

и я: из того, что я прочел, я непременно что-нибудь отмечу. Сегодня, например, я вычитал у Эпикура — так как я не гнушаюсь заходить иногда и во вражеский лагерь, не в качестве перебежчика, но в роли лазутчика, — что «почтенна веселая бедность». Впрочем, можно ли назвать бедностью такую бедность, которая весела? Кто хорошо уживается с бедностью, тот, в сущности, богат. Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет большего. Что пользы ему, что у него в сундуках много денег, в житницах много пшеницы, на лугах много скота, много денег отдано в рост, если он жаждет чужого имущества и считает не то, что уже приобрел, а то, что ему еще надо приобрести? Условий богатства, по-моему, два: во-первых, иметь необходимое и, во-вторых, довольствоваться им.

Письмо III

О ВЫБОРЕ ДРУЗЕЙ

Ты посылаешь мне свое письмо, как ты пишешь, со своим другом. А затем прибавляешь, чтобы я не сообщал ему всего касающегося тебя, потому что ты сам не делаешь этого. Таким образом, в одном и том же письме ты и назвал его другом, и отрекся от него. Если ты назвал его другом, потому что это первое слово, какое попало тебе на язык, употребил его в том ходячем смысле, в каком мы называем господином всякого встречного, если не знаем его имени, — тогда пусть так. Но если ты считаешь за друга кого-нибудь, кому веришь меньше, чем самому себе, то ты жестоко заблуждаешься и не понимаешь сущности

искренней дружбы. ***С другом обсуждай все, но, прежде чем дружиться, узнай его самого.*** По заключении дружбы надо верить; рассуждать же надо раньше. Весьма беспорядочно поступают те, кто, вопреки наставлениям Теофраста, рассуждают, уже полюбив, а рассудив, перестают любить. Долго обдумывай, можешь ли ты считать кого-нибудь другом. Но раз ты найдешь, что он достоин дружбы, отдайся ему всем сердцем, и тогда говори уже с ним так же свободно, как с самим собою. Жить следует, собственно говоря, так, чтобы и можно было злейшему врагу доверить все, что у тебя на душе. Но в жизни бывают разные обстоятельства, из которых принято делать тайны. Так вот другу-то и можно доверить все заботы, все помыслы. Если ты считаешь его преданным, то и обращайся с ним как с таковым. Кто боится обмана, тот учит ему и самим подозрением дает право на любое коварство. Перед другом не следует утаивать ни единой мысли; надо в его присутствии считать себя в обществе самого себя.

Есть такие люди, что рассказывают первому встречному то, что можно доверять одним друзьям, и выгружают тайный груз души своей в любые уши. Другие, напротив, страшатся довериться даже самым близким и если бы могли, то, не доверяя самим себе, спрятали бы всякий секрет как можно глубже. Не следует делать ни того, ни другого. Обе эти крайности — и доверять всем, и не верить никому — одинаково дурны: только одна благороднее, другая безопаснее. Точно так же есть люди вечно беспокойные, и, напротив, есть люди ко всему равнодушные. Но наслаждение тревогами жизни не есть деятельность: это только трепет взволнованной души. С другой стороны, состояние, при котором всякое движение в тягость, не есть покой, а только расслабленность

и усталость. Раздумывая об этом, полезно иметь в виду стих Помпония:

*Они запрятались в такую нору,
Что, где светло, — им чудится тревога.*

Отдых и работа должны сопутствовать друг другу: тот, кто отдохнул, должен работать, а тот, кто трудился, может отдыхать. Этому учит нас и природа, сотворившая и день и ночь.

Письмо IV

О СТРАХЕ СМЕРТИ

Продолжай, что начал, и торопись: чем скорее усовершенствуешь и разовьешь свою душу, тем дольше будешь наслаждаться. Правда, есть наслаждение и в самом процессе совершенствования и развития. Но гораздо высшее наслаждение заключается в самосознании ума, свободного от всяких слабостей и блещущего чистотою. Ты помнишь, какую радость ты ощутил, когда, сняв детское платье, надел тогу мужчины и в ней явился на форум. Еще большая радость ожидает тебя, когда ты отбросишь свой детский ум и философия впишет тебя в число мужей. До тех же пор твоя мысль находится в детском, и даже еще хуже, в ребяческом возрасте. Нет ничего хуже, как, будучи внушительным старцем, сохранять несовершенства детей, и притом маленьких детей. Старики боятся легкомысленного; дети боятся пустяков, а такие люди — и того и другого. *Заметь себе, всего*

менее следует бояться того, что обыкновенно внушает наибольший страх (то есть смерти). Под конец не бывает ничего значительного. Приходит смерть: ее можно было бы бояться, если бы она осталась с тобою. Но неизбежно она или не наступит, или свершится. «Трудно, — возразишь ты, — довести ум до презрения жизни». Неужели ты не замечал, как часто это презрение порождается ничтожнейшими причинами? Один повесился у дверей своей милой; другой бросился с крыши, чтобы не слушать более брани своего господина; третий распорол себе живот, чтобы его не вернули из бегов. Так неужели же доблесть не сделает для человека того, что так легко делает чрезмерный страх? Безмятежная жизнь не выпадает на долю никому из тех, кто слишком заботится о ее продлении, кто между прочими благами жизни считает за благо долголетие. Чтобы равнодушнее смотреть на жизнь и смерть, думай каждый день о том, сколь многие цепляются за жизнь совершенно так, как цепляются за колючие терния утопающие в быстром течении реки. Сколь многие колеблются между страхом смерти и мучением жизни: и жить не хотят, и умереть не умеют. Чтобы жизнь была приятна, надо отложить все попечения о ней. Разве может радовать человека обладание вещью, утратив которую он будет безутешен? Напротив, совсем не тяжело потерять такую вещь, по утрате которой вторично ее не пожелаешь. Потому приготовься к превратностям судьбы и смотри хладнокровно на них: они случаются даже с самыми сильными. Приговор Помпею произнесли сирота и евнух; Крассу — жестокий и несносный парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду отрубить голову трибуну Декстру, а сам пал от руки Херея. Никого еще судьба не возносила так высоко, чтобы ему не угрожало то, что он сам себе позволял относительно

других. Не доверяй затишью: в одно мгновение море может взволноваться. Корабли тонут иногда в тот самый день, в который они красовались на глади вод. Вспомни, что и разбойник, и враг всегда могут занести над тобой меч. Не надо даже никаких особых обстоятельств; твоя жизнь и смерть находятся в зависимости от прихоти любого раба. Ведай, кто презирает свою жизнь, владеет твоею. Припомни, сколько людей погибли от руки своих слуг, сраженные открытым насилием или тайною хитростью. Право, не меньше людей погибло от рук своих рабов, чем по прихоти царей. Что же думать о том, как силен тот, кого ты боишься, если то, за что ты боишься, во власти всякого? Положим даже, что ты попадешь в руки своего врага и он в качестве победителя приговорит тебя к смерти. И что же? Ты придешь именно к тому концу, к которому шел всю жизнь. Зачем обманывать себя и только теперь замечать факт, с которым давно уже следовало примириться? Верь мне — ты неизбежно умрешь уже в силу того, что ты родился. ***В этом роде должны мы рассуждать, если хотим спокойно и твердо встретить последний час, страх перед которым делает мучительными остальные часы нашей жизни.***

Чтобы кончить письмо, сообщу тебе изречение, встреченное мною во вражеских вертоградах и понравившееся мне: «Бедность, согласующаяся с законами природы, в сущности, большое богатство». Природа, как известно, установила для нас следующие потребности: не голодать, не чувствовать жажды и не зябнуть. А для того чтобы утолять голод и жажду, нет необходимости сидеть в приемных разных гордецов и выносить их тяжелую заносчивость или презрительную снисходительность; нет необходимости плавать по морям или нести тяготы военной службы. Необходимое

всегда легко приобрести. И только для избытков приходится трудиться в поте лица. Из-за них-то изнашивается парадное платье, из-за них наступает преждевременная старость в военных походах, из-за них стремятся в чужие страны. А между тем под рукою у нас есть все, что нужно.

Письмо V

О ФИЛОСОФСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Хвалю тебя и радуюсь, что ты, оставив все прочее, предался делу самосовершенствования. Я не только советую, но даже прошу: не оставляй этого дела. Но предупрегаю тебя: не поступай подобно тем, кто хочет не столько быть чем-либо, сколько казаться; не делай ничего такого, что заставило бы говорить о твоей внешности и твоем образе жизни. Не ходи с неумытым лицом, непричесанными волосами и небритой бородой; не подчеркивай презрения к деньгам; не хвались постелью, устроенною на голой земле, и вообще ничем таким, за чем гонится извращенное честолюбие. Само имя философии, хотя бы она даже и скромно пропагандировалась, достаточно ненавистно. Что же будет, если мы еще станем выделяться среди других людей странными привычками? Пусть в душе мы будем вполне несходны с толпой, но по наружности ничем не надо от нее отличаться. Не надо блистать своим платьем, но зачем носить его грязным? Не будем приобретать серебряной утвари, щедро украшенной золотыми узорами, но не будем счи-

тать за неперемнное условие умеренности лишение золота и серебра. ***Будем заботиться о том, чтобы вести лучшую жизнь, чем толпа, но не противоположную ей.*** Иначе мы оттолкнем и отвратим от себя тех, кого хотим исправить, и добьемся того, что нам не захотят подражать ни в чем из боязни, что придется подражать во всем. Философия, прежде всего, проповедует здравый смысл, общительность и человечность. Резкое отличие от толпы противоречит этим целям. Надо заботиться поэтому, чтобы не казалось смешным и противным то, посредством чего мы хотим добиться восхищения. Ведь наша цель — жить сообразно с природой. Уродовать же тело, ненавидеть самую необходимую опрятность, жить в грязи и есть не питательную и вкусную пищу, а противную и тошнотворную, — значит поступать против природы. Насколько можно считать роскошью стремление к изысканным вещам, настолько глупо избегать обычных и общепринятых удобств. Философия проповедует: умеренность, но не самоистязание; умеренность же вполне совместима с опрятностью. Тут надо знать меру. Наша жизнь должна сообразоваться как с требованиями нравственности, так и с требованиями общности. Пусть удивляются нашему образу жизни, но пусть признают его правильным. «Итак, что же, мы должны жить как все? И не должно быть никакой разницы между нами и толпою?» Непременно. Тот, кто узнает нас ближе, увидит, что мы не похожи на толпу. Но, войдя в наш дом, пусть дивятся не обстановке, а нам самим. Если есть величие в том, чтобы из глиняной посуды есть с таким достоинством, как и из серебряной, то не меньше его и в том, чтобы смотреть на серебро так же равнодушно, как на глину. Только узкий ум не может примириться с богатством.

По заведенному обыкновению, сообщаю попавшийся мне сегодня у Гекатона афоризм на тему, что ничего не желать — верное средство против страха. «Перестанешь бояться, — говорит он, — если перестанешь надеяться». Но, возразишь ты, что же общего между такими разнородными вещами? Да, мой Луцилий, как ни различны они на первый взгляд, они тесно связаны. Между этими, по-видимому, столь несходными чувствами существует связь, подобная той, которая связывает часового с остальными солдатами. Страх стережет надежду. И в этом нет ничего странного. Оба чувства — результат напряжения нервов, оба вызываются ожиданием будущего. Основная причина обоих чувств в том, что мы не довольствуемся настоящим, но направляем наши помыслы на будущее. Таким-то образом предусмотрительность, в которой наилучший залог человеческого благополучия, способна обращаться во зло. Животные бегут от опасности, но только избегают ее, успокаиваются; мы же, люди, мучимся и настоящими, и прошедшими. Так, многие блага, дарованные нам природой, обращаются нам во вред. Память возобновляет мучения страха; предусмотрительность заставляет предвкушать их. Нет такого человека, который страдал бы только через настоящее.

Письмо VI

ОБ ИСТИННОЙ ДРУЖБЕ

Я замечая, о Луцилий, что не только исправляюсь, но и изменяюсь. Я не надеюсь, правда, и не обещаю, что во мне не останется ничего, нуждающегося в перемене, да

почему же бы не иметь даже и много такого, что следует исправить, дополнить или смягчить? Уже и то ясный признак совершенствования, если замечаешь в себе недостатки, о которых прежде и не подозревал. Для многих больных много значит уже сознание своей болезни. Я хотел бы поделиться с тобою всеми этими быстрыми переменами. Это было бы лучшим доказательством нашей дружбы, той истинной дружбы, которой не разрушит ни страх, ни надежда, ни забота о личном благе, той дружбы, ради которой и с которою люди идут на смерть. **Сколь многие лишены не друзей, а именно дружбы! Но в ней не будет недостатка у тех, чьи души соединяет одинаковое влечение к истине и добру.** И потому именно не будет недостатка, что у таких людей все общее, начиная с самих недостатков. Трудно даже представить себе, сколько пользы извлекал я из каждого отдельного дня. «Сообщи же мне, — скажешь ты, — эти средства, оказавшиеся столь живительными». Я страстно хочу рассказать тебе о них, и отчасти рад потому, что узнал их, что могу научить тебя. Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое полезное, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременною условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался. Неприятно, обладая чем-либо, ни с кем не делиться. Потому посылаю тебе свои книги. Чтобы избавить тебя от труда самому отыскивать в них полезные места, перелистывая страницы, я сделал заметки, по которым ты сразу найдешь все то, что мне нравится и приводит меня в восхищение. Конечно, ты извлек бы более пользы из совместной жизни со мной и через живую речь, чем через письма. Следует все видеть самому, во-первых, потому что вообще легче верить глазам, чем ушам, а во-вторых, потому что путем поучений цель

достигается медленнее, чем с помощью примеров. Клеант не мог бы так живо рассказать про Зенона, если бы только слушал его; но он жил вместе с ним, знал его тайны, наблюдал, действительно ли он согласует свою жизнь со своим учением. Платон и Аристотель и весь сонм других философов гораздо больше извлекали из жизни Сократа, чем из его слов. Митродор, Гермарх и Полиэй стали великими людьми не вследствие поучений Эпикура, но вследствие жизни с ним. Впрочем, я зову тебя не столько ради того, чтобы поучать тебя, сколько для своей собственной пользы. Мы во многом можем помочь один другому.

А пока вот тебе моя ежедневная дань — изречение Гекатона, которое, по-моему, весьма замечательно. «Ты спрашиваешь, — пишет он, — чего я добился? Я стал сам себе другом». И он в самом деле многого достиг. Он никогда не будет одинок. Знай, кто друг себе — друг всем людям.

Письмо VII

УДАЛЯЙСЯ ОТ ТОЛПЫ

Ты спрашиваешь, чего, по моему мнению, следует избегать? Толпы. Невозможно смешиваться с нею без вреда для себя. Я, по крайней мере, сознаю свою слабость. Никогда не возвращаюсь я с такою же чистою душою, с какою вышел к толпе. Все, что только что улеглось, снова возмутится. Порок, от которого я было исправился, возвращается. Словом, повторяется то же, что бывает с больными, ослабевшими до такой степени, что для них уже все вредно. Но ведь

наши души именно такие больные, медленно оправляющиеся от своей болезни. Вступать в сношения с толпою вредно. Каждый человек привьет нам хоть частицу своих пороков: или научит им, или заразит ими. И чем больше количество людей, тем больше опасности. А всего пагубнее для нравственности театр; тут порок прививается тем легче, что он нравится. Сознаюсь тебе, что, побывав в обществе, я возвращаюсь скупее, честолюбивее, сластолюбивее, даже жестче и бесчеловечнее. Как-то зашел я на полуденный спектакль, рассчитывая посмотреть игры, шутки и вообще что-нибудь веселое, что дается, чтобы глаза зрителей могли отдохнуть от человеческой крови. Но вышло наоборот. Тот бой, который происходил раньше, гораздо милосерднее. Тогда же, когда пришел я, происходило уже голое человекоубийство без всяких прикрас. У бойцов не было ничего для отражения ударов. Все тело их было открыто для взаимных ударов, и ни один взмах их рук не миновал цели. Между тем громадное большинство предпочитает такую бойню обыкновенным поединкам и гладиаторским боям. И ее предпочитают потому, что здесь нельзя отразить удара шлемом или щитом. Зачем, в самом деле, доспехи, зачем искусство? Все это только задержка для смерти. По утрам людей бросают на растерзание львам и медведям, среди дня — зрителям. Победителям приказывают умерщвлять побежденных, а затем опять посылают их в бой: у всех сражающихся, таким образом, один конец — смерть. Дело ведется огнем и мечом и продолжается, пока арена не останется пустою. Но, скажут мне, ведь это разбойники. Чего же они заслуживают, кроме виселицы? Ведь вот, например, этот — убийца. Если он убийца, то он, конечно, заслужил смерть, но ты сам чем заслужил то, что должен смотреть на все это?!

*Убивай, бей, жги! Чего он так трусит, нападая?
Он недостаточно храбр! Зачем он так вяло идет
на смерть?
И несчастного гонят на смерть ударами бичей.
Пусть сражаются все вместе, обнажив свою грудь
для ударов!
Зрелище наконец прерывается.
Так пусть в промежутке убивают людей, чтобы было
на что смотреть!*

И неужели не понимают эти зрители, что их дурной пример обратится на них же! Благодарите бессмертных богов за то, что вы не научите быть жестоким того, кто не способен научиться этому.

Необходимо устранять от народа всякий нежный ум, еще не способный неуклонно следовать правде. От мелких ошибок легко перейти к крупным порокам. Развращенная толпа способна испортить даже Сократа, Катона и Лелия, до того бессилен всякий из нас, как бы ни был развит его ум, противиться напору пороков, являющихся в таком множестве. Один пример роскоши и скупости может принести громадное зло. Изнеженный сожитель мало-помалу развратит и приучит к роскоши самих нас; богатый сосед возбудит зависть; грубый спутник даже невинному и бесхитростному придаст хоть немного своей грубости. Что же будет с твоим характером, если ему придется подвергнуться влиянию целой массы пороков? Очевидно, ты станешь или подражать им, или ненавидеть, а между тем и то и другое нехорошо. Ты не должен ни стараться походить на других из-за того, что их много; ни делаться врагом многим оттого, что они не похожи на тебя. Углубляйся в себя сколько можешь; ищи общества

тех, кто может сделать тебя лучше; допускай в свое общество тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Совершенствование происходит взаимно, и люди учатся, уча сами. Незачем, однако, ради распространения своих мыслей читать лекции толпе. Это можно делать лишь в том случае, если есть подходящий материал для публичных лекций; но теперь никого нет, кто бы понял тебя. Найдется один-другой способный к развитию, но и его еще придется готовить и предварительно воспитывать, чтобы он мог сразу понимать тебя. «Для кого же я учился?» — возразишь ты. ***Не считай даром потраченным время, если ты выучился для себя.***

Но чтобы мне самому сегодня не учиться только для себя, сообщу тебе три понравившихся мне прекрасных изречения — почти на тему моего письма. Одно из них прими как должное за это письмо, два других возьми в задаток для будущих писем. Демокрит пишет: «Для меня один человек может заменить целый народ, и целый народ для меня только одно лицо». Хорошо ответил и другой философ, кто бы он ни был, потому что насчет принадлежности изречения тому или другому автору существуют разные мнения. Когда у него спросили, зачем он с таким прилежанием занимается искусством, доступным столь немногим: «Я удовлетворюсь, — сказал он, — немногими, пожалуй, одним, и даже совсем никем». Хорошо выразился и Эпикур в письме к одному из своих учеников: «Я пишу это не для всех, но для тебя одного: мы достаточно большая аудитория друг для друга». Эти изречения полезно, о мой Луцилий, хранить в своем сердце, чтобы презирать то наслаждение, которое испытывается при одобрении большого числа людей. Многие тебя хвалят; но какая честь в том, что тебя может понять всякий? Твои сокровища должны быть сокрыты внутри тебя.

Письмо VIII

О НЕДОВЕРИИ
К СЧАСТЬЮ

«Ты советуешь мне, — пишешь ты, — избегать общества, уединяться и жить согласно внушению своей совести. При чем же ваши наставления, по которым следовало умереть за делом? Но именно ради этого дела я и удалился сюда, и затворился от всех, чтобы возможно больше принести пользы. Ни один день не проходит у меня в бездействии. Я посвящаю занятиям даже часть ночей. Я не отказываюсь от сна совсем, но борюсь с ним и напрягаю для занятий глаза, уже утомленные от бодрствования и слипающиеся от сна. Я скрылся, впрочем, не столько от людей, сколько от мирских дел, и прежде всего от моих собственных. Я занимаюсь делами потомства и пишу нечто, что будет полезно для него. Я вверяю бумаге спасительные увещания как рецепты полезных лекарств, испытав их целительную силу на моих собственных ранах, которые хотя и не совсем еще зажили, но, по крайней мере, закрылись. Я указываю другим истинный путь, который я сам нашел поздно, уже утомленный блужданием, и кричу: «Бегите того, что нравится черни, что достается по случайности. Относитесь ко всякому дару судьбы подозрительно и с робостью. Ведь и зверь, и рыба попадают в западню, влекомые обманчивой надеждой. За тем, что вы считаете дарами счастья, кроется засада. Кто хочет остаться невредимым, пусть избегает сколько возможно этих даров, служащих приманкой. На них-то мы, несчастные, и ловимся чаще всего. Мы думаем,

что захватили их в свои руки, а на деле оказывается, что мы сами попали в западню. *Счастливый путь ведет к стремлениям, и конец блестящей жизни — падение.* А между тем трудно противиться, раз счастье увлекло на ложный путь. Потому или будь всегда тверд, или порви с ним сразу. Судьба не направляет, но опрокидывает и топит. Ведите здоровый образ жизни, заботьтесь о теле, лишь насколько это необходимо для здоровья. Надо быть суровым к плоти, чтобы она повиновалась духу. Пусть пища только умеряет голод, питье — жажду, одежда — холод и жилище служит защитой тела от непогоды. Но решительно безразлично, построено ли оно из дерна или из цветного, чужеземного камня: знайте, что человек одинаково может укрыться как под соломой, так и под золотом. Презирайте всякие украшения, достаемые непосильным трудом. Помните, что нет ничего достойного восхищения, кроме души, а для ее величия ничто недостаточно велико.

Когда я рассуждаю таким образом теперь сам с собою, а после с грядущими поколениями, не находишь ли ты, что я приношу больше пользы, чем если бы я занялся адвокатурой или нотариальным засвидетельствованием завещаний, или продавал бы свой голос и влияние кандидатам, заседая в сенате? Верь мне, что тот, кто кажется бездельником, на деле часто делает слишком много: и божеское, и человеческое.

Но пора кончить и, по обыкновению, надо приложить нечто к концу письма. И это нечто не должно быть моим. Все это время я читаю Эпикура, потому и приведу сегодня изречение из его сочинений: «Чтобы достигнуть истинной свободы, надо служить философии». Кто ей отдался

и подчинился, тот не будет зависеть от случайных обстоятельств времени и тотчас выйдет на волю. **Ведь самое служение философии есть истинная свобода.** Пожалуй, ты меня спросишь, почему я нахожу столько хороших изречений у Эпикура, а не у наших? Но зачем называть эти изречения Эпикуровыми, а не общепhilософскими? Сколько поэтов говорят о том, что сказано или что могло быть сказано философами! Я не говорю уже о трагиках и о представителях нашей национальной драмы. В их сочинениях, занимающих середину между комедией и трагедией, все же очень много серьезного. Но сколько остроумнейших стихов попадаетея в наших мимах! Даже у Публия есть много такого, что достойно быть сказанным не перед чернью, но перед избранными судьями. Я приведу здесь один его стих, принадлежащий к особенно философским и относящийся к тому вопросу, о котором я только что писал. Он отрицает в нем нашу власть над случайными дарами судьбы:

Что дала тебе судьба, то не твое.

Я помню, что эту же мысль ты выразил несколько лучше и яснее так:

Не тебе принадлежит то, что счастье делает твоим.

Еще лучше сказано то же самое тобою же в другом месте:

Дар, который мог быть подарен, может быть и отнят.

Но эти стихи не идут уже в наш счет: я заимствовал их у тебя же.

Письмо XII

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
СТАРОСТИ

Куда я ни обращусь, всюду вижу признаки моей старости. Приехал я в мою загородную виллу и остался недоволен тем, что поддержание ее дорого стоило. На мои жалобы управляющий возразил, что он в этом не виноват, что он со своей стороны принимал все меры, но что сама вилла стара. А вилла эта построена на моих глазах. Чем в самом деле стал я, если рассыпаются камни одних лет со мною? Рассердившись на управляющего, я стал искать случая, чтобы придрататься к чему-нибудь. «Очевидно, — сказал я, — что за этими платанами не смотрят. Их зелень жидка, ветви искривлены и узловаты, стволы черны и неравны. Ничего бы этого не было, если бы их окапывали и поливали как следует». Тут управляющий стал клясться, что он все это делал, не жалел на это никаких трудов, но что деревья стары. А между тем я сам посадил их и видел их первые листья. Взглянув на двери дома, я воскликнул: «А это что за расслабленный старик? Недаром он стоит в дверях: его пора выгнать из дому. Где ты выискал такого? И что тебе за охота таскать чужих мертвецов?» Но старик этот сказал мне: «Неужели ты не узнал меня? Ведь я Фелицио, тот самый Фелицио, которому ты дарил статуэтки богов. Я сын твоего управляющего Филозита и был твоим любимцем». — «Что он врет? — вскричал я. — Моим любимцем был мальчик, да иначе и быть не могло. А у этого повываливались все зубы».

Итак, посещением своей загородной виллы я обязан тем, что **старость предстала предо мною всюду, куда я ни обращался. Что ж, удовольствуемся ею и полюбим ее!** И она полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. Яблоки всего вкуснее в то время, когда они уже проходят. Детство всего прекраснее на исходе. Пьяницам наибольшее наслаждение доставляет последняя чаша, та, которая окончательно опьяняет их. Вообще, всякое наслаждение достигает высшей силы в последний момент. Потому и из возрастов самым приятным должен считаться старческий, а не зрелый. И я утверждаю, что в старости, стоящей на границе бытия, есть свои наслаждения, или, по крайней мере, их вполне может заменить то, что у нее нет потребности в них. О, как приятно, устав от страстей, наконец освободиться от них! «Но, — возразишь ты, — тяжело иметь смерть перед глазами». Но, во-первых, юноша должен ждать смерти не меньше, чем старик. Ведь мы не знаем, когда придет наш час. Во-вторых, нет такого старика, который бы не имел оснований надеяться, что он проживет еще один день. А между тем каждый день — это шаг жизни.

Нашу жизнь мы можем представить себе как ряд кругов, обнимающих друг друга: один из них заключает в себе все остальные: он простирается от дня рождения до дня кончины. Другой заключает в себе все юношеские годы; третий — все детство и так далее. Наконец, есть круги, содержащие в себе отдельные годы, заключающие, каждый в себе, четыре времени года, через повторение которых слагается вся жизнь. Каждый месяц окружен своим маленьким кругом. Наконец, самые маленькие круги содержат в себе по одному дню, но и здесь каждый имеет начало и конец, исходную точку и конечную. Гераклит, прозванный Темным

за туманность своего изложения, говорил, что «все дни одинаковы». Это изречение толкуют различно. Одни говорят, что он хотел сказать этим, что день равен дню по числу часов. И в самом деле, если день есть промежуток времени, равный двадцати четырем часам, то очевидно, что все дни равны между собою, потому что насколько увеличится ночь, настолько уменьшится день. Другие говорят, что Гераклит хотел указать на качественное сходство дней между собою; в самом деле, никакой более длинный промежуток времени не имеет таких свойств, каких не было бы в одном дне: света, и тьмы, и других изменений в природе. В больший промежуток времени явления эти только повторятся чаще: одних будет больше, других меньше, но нового не может быть ничего. Поэтому **каждый день следует проводить таким образом, как будто он представляет из себя нечто цельное и наполняет и исчерпывает целую жизнь**. Пакувий, управлявший Сирией, как будто она была его помещьем, готовил себе каждый день роскошный поминальный ужин и, напившись, приказывал относить себя из-за стола в спальню при пении хора мальчиков: «Он прожил, он прожил!» Таким образом он хоронил себя каждый день. Вот это, что он делал из распутства, мы будем делать с полным сознанием и, отходя ко сну, будем повторять радостно и весело:

*Кончена жизнь! Я путь совершил, мне судьбой
дарованный.*

Если же боги пошлют нам и следующий день, примем его с благодарностью. Тот, кто ожидает завтрашнего дня без волнения, счастливо и мирно владеет сегодняшним. Кто говорит себе: я прожил свое, — для того каждый новый день составляет чистую прибыль.

Но пора закончить письмо. «Как, — скажешь ты, — на этот раз я должен обойтись без изречения?» Не бойся, кое-что ты получишь и сегодня. Впрочем, что же я говорю «кое-что». Очень много. В самом деле, что может быть лучше следующего изречения: «Тяжело жить в крайности, но нет никакой крайности жить в крайности». Почему же нет крайности? Да потому что для того, чтобы выйти из нее, существует множество, и притом весьма легких, способов. Возблагодарим Бога за то, что никто не может заставить нас насильно жить: можно презирать самую крайность. Но ты недоволен. «Это изречение Эпикура. Что тебе за охота цитировать своих противников?» — говоришь ты. Что истина — то мое. Я буду продолжать свои цитаты из Эпикура, чтобы те, кто верит в авторитеты и ценит мысли не потому, что в них выражено, но по тому, кто их высказывает, поняли, что истина, кем бы ни была она высказана, одна для всех.

Письмо XVII

О ПРЕЗРЕНИИ К БОГАТСТВУ

Отложи все житейское, если ты мудр, если же еще нет, то для того чтобы стать мудрым, и стремись изо всех сил и всеми средствами к совершенствованию. Старайся избавиться от всего, что задерживает тебя на этом пути. «Мне мешает, — говоришь ты, — забота о моем имуществе, и я хочу так устроить его, чтобы доходы с него обеспечивали мне покойную жизнь, без хлопот, и чтобы

в то же время мне не пришлось страдать от бедности или быть кому-нибудь обузой». Если ты так говоришь, то ясно, что ты не постиг всей силы и могущества того блага, о котором идет речь, ясно, что в общем ты представляешь себе пользу философии, но недостаточно еще вникнул в частности и еще не знаешь, как поддерживает она нас во всем, как, говоря словами Цицерона, помогает она нам в важных случаях жизни и в то же время применима и к самым ничтожным событиям. Послушай меня и призови ее на помощь: она убедит тебя, что не следует сидеть над счетами. Ведь, отсрочивая свои занятия, ты хочешь достигнуть только того, чтобы тебе не угрожала бедность. Но зачем же это, если к бедности-то и следует стремиться?

Богатство многим мешало заниматься философией; бедность же для этой цели весьма удобна и покойна.

Когда раздается призывный военный сигнал, она знает, что он относится не к ней. Когда на улицах мятеж, бедность заботится только о том, как бы ей уйти самой, а не о том, что ей унести с собою. Если она едет в плавание, гавань не переполняется шумом и на берегах не стоит толпа провожающих. Она не окружена многочисленными рабами, для прокормления которых необходимы урожаи заморских стран. Насытить тощий и здоровый желудок, нуждающийся лишь в утолении голода, нетрудно. Голод довольствуется немногим; разнообразие блюд — результат скуки. Бедность довольствуется удовлетворением насущных потребностей. Так почему же ты не хочешь взять себе в спутницы ту, нравам которой подражает здравомыслящий богач? Если хочешь свободы духа, должен быть бедным, или, по крайней мере, похожим на бедного. Никакие занятия не будут плодотворны при неумеренном образе жизни. Умеренность

же и есть добровольная бедность. Оставь поэтому пустые отговорки: «У меня еще нет достаточных средств. Когда я приобрету известную сумму денег, то я весь отдам философии». Нет, надо сначала приготовить себе именно то, что ты хочешь отложить на конец, а потом уже можно заботиться об остальном. Именно с философии-то и нужно начать. «Я хочу, — говоришь ты, — приготовить средства для жизни». Но вместе с тем надо приготовить и самого себя, ведь если что и мешает тебе хорошо жить, то ничто не мешает хорошо умереть. Верь, что не только бедность, но и сама нужда не может служить помехой для философии. Те, кто стремится к ней, должны бы легче терпеть голод, чем осажденные в крепости. Ведь единственной наградой этих последних будет то, что они не попадут в руки победителя. Насколько же больше этого дает философия, ведущая за собою вечную свободу и бесстрашие перед людьми и богами: итак, стремись к ней, хотя бы из-за нее пришлось голодать. Войска терпят бедствия всякого рода; питаются дикими кореньями, а часто испытывают неопи-суемый голод. И все это лишь для того, чтобы завоевать царство, и что притом всего удивительнее, чужое царство! Можно ли после этого задумываться над бедностью, имея в виду освободить душу от вечного страха? Не заботься же о предварительном приобретении имущества: к философии можно прибыть без всяких путевых издержек.

Ты рассуждаешь так: «Когда у меня будет все, что мне надо, тогда приобрету себе и философию». Таким образом, выходит, что она у тебя самая последняя вещь в жизни, так сказать, прибавление к прочим удобствам. Нет, *занимайся философией, если у тебя есть хоть какие-нибудь средства: почему ты знаешь, быть может, у тебя есть даже*

лишнее? Но если у тебя даже и ничего нет, то и тогда все-таки прежде всего добивайся мудрости. «Ну а если нет даже самого необходимого?» Этого не может быть; потому-то природа требует весьма немногого. Мудрец же согласует свою жизнь с природою. Но если бы он впал в крайнюю нужду, он тотчас перестал бы быть себе в тягость. А раз у него есть достаток, хотя бы скудный и жалкий, но на который он может жить, мудрец уже и его сочтет за благо и, заботясь только о самом необходимом, сократит свои потребности в еде и одежде и, довольный своей судьбой, будет осмеивать труды богачей и ухищрения ищущих богатства, говоря: «Зачем ты откладываешь свою жизнь? Ждешь ли, чтобы выросли проценты, или ожидаешь торговой прибыли или наследства от богатого родственника, надеясь сразу разбогатеть? К чему? Мудрость заключает в себе истинное богатство, которым награждает всякого». Впрочем, все это относится до других людей; ты же можешь считаться богатым: для прежнего времени у тебя было бы даже слишком много. Того же, что достаточно теперь, будет достаточно и во всякое время.

Я кончил бы этим свое письмо, если бы не избаловал тебя раньше. Парфянских царей нельзя приветствовать без подарка — с тобой нельзя без подарка прощаться. Что же дать тебе? Возьму опять у Эпикура мысль, похожую на приведенную раньше: «Разбогатеть — не значит положить конец бедствиям, но только променять их на другие». В этом нет ничего странного. Ведь корень зла не в вещах, но в душе. То, что делало для нас тягостною бедность, делает нам в тягость и богатство. Не все ли равно, на какую постель положить больного, на золотую или на деревянную. На какую бы ты ни положил его, положишь с ним вместе

и болезнь его. Поэтому совершенно все равно, богато или бедно живет тот, кто болен духом. Его бедствие во всяком случае будет при нем.

Письмо XVIII

О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ МУДРЕЦА

Декабрь месяц. Во всем городе особенная суета. Как будто особым законом установлена общественная роскошь. Повсюду идут приготовления к празднику, точно дни сатурналий существенно отличаются от остальных дней в году. А ведь на самом деле между ними нет никакой разницы, и я даже думаю, что прав тот, кто сказал, что теперь декабрь месяц продолжается целый год.

Если бы ты был со мною, я бы охотно поговорил с тобой, что нам теперь делать — оставить ли в полной незыблемости ежедневный строй жизни, или, для того чтобы не выделяться из общей массы, надеть праздничное платье и отужинать повеселее. В наше время принято в ознаменование праздника надевать особое платье, подобно тому, как прежде его носили в печальные времена общественных несчастий. Насколько я тебя понимаю, ты предпочел бы роль зрителя, и, таким образом, мы не были бы похожи на разряженную толпу, но в то же время не резко выделялись бы из нее. В эти дни приходится обнаруживать особое присутствие духа, чтобы одному воздерживаться от всяких удовольствий, когда им предается

вся масса народу. **Лучшее доказательство твердости духа состояло бы в том, чтобы не позволить увлечь себя в общий поток наслаждений и роскоши.** Для этого надо гораздо больше силы характера, чем для того, чтобы оставаться трезвым в пьяной компании. Нужна гораздо большая воздержанность для того, чтобы не выделяться из толпы, не смешиваясь в то же время с ней, и делать то же, что и все, но на другой лад, ведь сатурналии можно отпраздновать без всяких увеселений.

Но мне до того хочется испытать твердость твоего характера, что, по примеру великих философов, я предложу тебе в течение нескольких дней питаться возможно скудной и невкусной пищей и носить простую и грубую одежду, и (я уверен) ты скажешь после этого: так этого-то я мог бояться?! Среди полного довольства приготовляйся к лишениям и, окруженный богатством, укрепись против превратностей судьбы. Солдат и в мирное время марширует, роет укрепления и переносит всевозможные труды для того, чтобы уметь переносить их, когда придет к тому необходимость. Если не хочешь бояться наступления какого-либо бедствия, приучайся к нему заранее. Так приучаются иные к бедности, ведя в течение многих месяцев нищенский образ жизни; после этого им нечего уже бояться бедности, так как они привыкли к ней. Я, впрочем, не советую подражать в обеде Тимону и запирается в камерке для рабов и вообще делать что-либо из того, что измыслила роскошь, пресытившись богатством. Но пусть у тебя будет жесткая постель, грубое платье и черствый хлеб. В такой обстановке живи по три, по четыре, иногда по несколько дней, для того чтобы это не было пустою забавой, но настоящим опытом. Тогда, поверь мне, о Луцилий, ты будешь счастлив сознанием